

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ

Трамвай до Мотовилихи

Прямоугольная планировка сразу обозначает умышленный город. Красота здесь лишена очарования естественности, как жизнь по приказу. Приказом царицы Пермь назначили городом, и она стала обзаводиться не историей, которой не было, а мифологией, которая есть всегда, если есть желание. Трамвай номер четыре по пути от ЦУМа к цирку и дальше на Мотовилиху проходит над Егошихинским оврагом — отсюда, от заложенного здесь медеплавильного завода, и пошла Пермь. Сейчас это особая центровая окраина, сдвинутая не по горизонтали, на край, а по вертикали, вниз. Провожатый кивает на овраг: “Вон там, за кладбищем, речка Стикс”. Законная гордость: где еще на свете есть Стикс? На этом — нигде. Над Егошихой — трамплин, прыжки бесстрашно совершаются в долину реки смерти, а там шпана.

Из трамвая жизнь вокруг видна сквозь чужую мудрость: окна в общественном транспорте мэрия украсила изречениями великих. Имеются муниципальные афоризмы для детей: “Любовь и уважение к родителям, без всякого сомнения, есть чувство святое. В. Белинский”. Для родителей: “Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы. Н. Карамзин”. Для школы: “Лень — это мать. У нее сын — воровство и дочь — голод. В. Гюго” — с категорией рода не все ладно, но изъяны грамматики искупаются дидактикой.

Двое в солдатских ушанках не обращают внимания на заповедь: “Судите о своем здоровье по тому, как радуетесь утру и весне. Г. Торо”. Во-первых, уже полчетвертого, во-вторых, снежная зима, в-третьих, о здоровье проще судить по цвету и запаху друг друга, в-главных, увлечены разговором. “Я его еще поймаю”, — угрюмо обещает один. Второй кивает: “Даже двух мнений быть не может. Ну, даже двух мнений быть не может”. Первый воодушевляется: “Я его еще поймаю. Убью обоих”. Слова звучат громко и веско, пассажиры ежатся и отворачиваются к окнам. “Из всей земной музыки ближе всего к небесной — биение истинно любящего сердца. Г. Бичер”. Та, что ли, Бичер, которая Стоу? Дяди Тома в четвертом трамвае только не хватало.

Хижины обступают Уральскую улицу, сменяя блочные и кирпичные дома. Трамвай идет вдоль реки, спускаясь к ней. Если выйти, с высокого еще берега видна широченная Кама, за ней — Верхняя Курья, далеко слева скрыт за излучиной Закамск, по здешней мифологии — потустороннее место, вот и не видать. Спуск делается круче, тут полудеревянная старая Мотовилиха, которая завораживала с той стороны Камы пасернаковскую Женю Люверс.

“Доктор Живаго” разместился в центре Перми, переименованной Пастернаком в Юрятин. На нарядной Сибирской — “Дом с фигурами” и библиотека на углу Коммунистической, где встретились Живаго и Лара. И — удвоение культурного мифа — дом “Трех сестер”, о чем рассказывают в Юрятине доктору. Здание пестренько выложено красным и белым кирпичом, здесь теперь “Пермптицепром”, порадовался бы реалистичный Чехов. На Сибирской — и длинный низкий дом, в котором провел юные годы Дягилев, и губернаторский особняк желтоватого ампира, каков обычно ампиры в России, и Благородное собрание с плебейски приземистыми колоннами, ныне клуб УВД, и в глубине парка Театр оперы и балета, где к пермским морозам бергамаск Доницетти подгадал “Дона Паскуале” (Пермь — Бергамо или, еще лучше,

Пермь — Парма: насторожись, краевед), и среди многоэтажек новенький Пушкин с нашлепкой снега на цилиндре. Мимо тянется троллейбус номер три, желто-зеленый, с алой надписью “Лапша Доширак” — не секундант ли Дантеса?

Сибирская проходит сквозь центр по бывшему каторжно-му этапу от Камы до Сибирской заставы. Раньше она была Карла Маркса, почему-то из всех новых-старых героев пострадал один Маркс. Володя Абашев, автор отличной книги “Пермь как текст”, рассказывает, что некогда улицы, выходящие к Каме, носили названия уездов (Чердынская, Соликамская, Ирбитская), вписывая город в край. Теперь они — Комсомольский проспект, улицы Куйбышева, 25 Октября, Газеты “Звезда”, а Сибирская одинока в окружении Большевицской, Коммунистической, Советской. Контекст поменялся, обновились коды. На высоком холме над Мотовилихой — мемориал 1905 года в виде парового молота.

Внизу — старинные мотовилихинские оружейные заводы. Шоу-рум под открытым небом — скорее шоу-двор — с изделиями пермских мастеров. Занесенные снегом орудия и пусковые установки выглядят брошенными в павальном бегстве — так отчасти и есть. Двадцатидюймовая “Уральская царь-пушка” с ядром в полтонны. Самоходка “Акация”, гроздя душистые. Самого плодovitого конструктора зовут Калачников — никак брат-близнец. В центре города в бывшей духовной семинарии — ракетное училище: горние выси остаются под контролем.

Плетение мифологической ауры увлекательно и неостановимо. Вряд ли имели в виду нечто значительное екатерининские шутники-интеллектуалы, когда назвали Стиксом ручей в Егошихинском овраге. Но в мифе каждое лыко в строку. Он выручает в тяжелые времена, работает на самоутверждение, ослабляет всероссийский комплекс столицы, приглушает стон пермских сестер: “В Москву! В Москву!”

Пермь как сандвич: снизу — невесть какая память о Перми-Биармии, куда викинги ходили за невестами (российское

хрестоматийное утешение: самые пригожие у нас); сверху — трогательная смешная всемирность с Сенекой и Леонардо на трамвайном стекле; между — та непридуманная жизнь, которая течет двадцать четыре часа в сутки триста шестьдесят пять дней в году.

По пути из аэропорта, за деревнями Крохово и Ванюки, справа долго виден нефтеперерабатывающий завод — источник существования. На придорожном плакате: “Оксфорд — побратим Перми”. Повезло Оксфорду — побрататься с первым европейским городом. “Европа начинается в Перми” — лозунг с напором, исключая законный, но нежелательный вариант: “Европа кончается в Перми”. Откуда смотреть. Как утверждает популярный в здешнем общественном транспорте автор, “в конце концов люди достигают только того, что ставят себе целью, и поэтому ставить целью надо только высокое. Г. Торо”. Мифотворчество как способ выживания — вызывает уважение.

Здесь много всероссийской мешанины: кафе-бар “Кредо”, магазин “Ком иль фо”, фестиваль “Мини-Авиньон”, призыв “требуется повар для изготовления пельменей на конкурсной основе”. Но много подлинного своего, не только умозрительного, но и того, что можно потрогать, увидеть, восхититься. Таково явление пермской деревянной скульптуры XVIII века. Местные резчики подправили облик Христа по своим идолам, создав редкой силы образ Спасителя с плоским скуластым лицом и широко расставленными раскосыми глазами. Почти кошунственное распятие: маленький, корявый, руки разведены в жесте недоумения. Домашний полуязыческий Никола с выпуклыми складками на лбу держит город, прикидывая вес на ладони. Статичные фигуры замерли в причудливых позах: в опасном наклоне вперед с какой-то чуть не удочкой в руках; с поднятой будто для голосования рукой и выражением полной готовности. До обидного недавно эти шедевры стали робко внедряться в мировой обиход. Слишком свое, чересчур вещественное: не викинги, не пермский геоло-

гический период, не центр мира и начало Европы. И легко догадаться, что в собрании Пермской художественной галереи всегда, особенно зимой, куда бóльшим успехом пользовались “Римские бани” Федора Бронникова, где эта на переднем плане в одних лиловых тапочках.

Лиловый негр в красной жилетке неподалеку от Спасо-Преображенского собора, где размещен музей, приглашает в заведение “Солнечный блюз”. Здесь, на Комсомольском проспекте, в мороз — негр из фанеры, другой бы не выдержал.

Мороз обрушивается на город ночью, внезапно, в обход прогнозов. С утра по телевизору рассказывают о технике безопасности при снятии сосулек. После обеда становится чуть легче: пошел снег — все гуще, крупнее. Молодая кондукторша подмигивает, кивает на заднюю площадку и громким шепотом говорит: “Уже третий сегодня”. Видя недоумение, поясняет: “Мороженое в минус двадцать пять, я бы с ума сошла!” Мужчина с эскимо, шевеля губами, дочитывает надпись: “Истинный показатель цивилизации не уровень богатства и образования, не величина городов и количество урожая, а нравственный облик человека, воспитываемого страной. Р. Эмерсон” — и выходит с мороженым из трамвая, сразу пропадая в снежной завесе. Бабка с картошкой в авоське вглядывается в стекло: “Землепашец, стоящий на своих ногах, гораздо выше джентльмена, стоящего на коленях. Б. Франклин”. Снег идет густо-густо, едва угадываются дома Мотовилихи. Старуха боится пропустить остановку, разворачивается и глядит в окно напротив: “Умственные наслаждения удлиняют жизнь настолько же, насколько чувственные ее укорачивают. П. Буаст”. Старуха вздыхает.

Макарьевская ярмарка

Макарьев встает из волжских вод постепенно — шатровая колокольня, купол Троицкого собора, кресты Михайло-Архангельской церкви, потом уже и длинные белые стены. Плоской земли не видно, и долго монастырь кажется растущим прямо из воды. Завораживает так, что не верится, и радостно оттого, что не верится. Теплоход идет медленно, почти бесшумно, ощущение чуда не нарушается ничем. И никем: даже досадно, после первого потрясения хочется поделиться, но на всех трех палубах “Александра Суворова” пусто. Последние разошлись перед рассветом, на траверсе Сциллы-Харибды посильней Одиссеевой: по правому борту — Ленинская Слобода, по левому — Память Парижской Коммуны.

Ночью про Коммуну тоже никто не желает слушать, все о своем, одно слово — артисты. “Я, старик, хочу тут человеческую красочку добавить. Понимаешь, человеческую красочку. — Ты молодчинка! Пошли, за тебя выпьем”. Крупная пожилая женщина горестно делится: “Я только раскатала хобот, а они говорят — пробы кончились”. Администратор из бывших дипломатов прижимает кого-то к борту: “В то время, доложу я вам, наблюдалась пауза в политическом диалоге. Повестка дня отношений была несколько укороченная. — Типа херовые отношения? — Типа того”. Актер с популярным лицом в центре кружка рассказывает: “В Тюмени аншлаги! В Сургуте

аншлаг! В Ханты-Мансийске аншлаг! В Челябинском политехе слетела крыша!” Кружок повизгивает.

Десант с Московского кинофестиваля, отгуляв в Нижнем Новгороде — завтрак в “Колизее”, Кремль, встреча с земством, домик Каширина, — с вечера держит курс на Макарьевский монастырь. В салоне и на палубе накрыты столы, поют попеременно казаки и цыгане, легко и властно командует режиссер-лауреат, рядом — кудрявый губернатор в джинсах.

Теперь все спят. “Суворов” тычется в причал под монастырскими стенами. Видно, как слева на берегу натягивают брезент над длинными столами. Поодаль котлы, ящики, пестрые колонны, которые оказываются стопками хохломских мисок. Задумана стерляжья уха с водкой. Ложки, миски, стаканы — все хохломское: нарядное, неудобное. Спецпартия деревянной посуды доставлена из Семенова, стерлядь поймана на месте.

Звучит бодрая радиопобудка: “Негаснувший очаг веры, жемчужина русского церковного зодчества...”. Опухшие киношники сходят по трапу, хмуро косясь налево: до ухи еще экскурсия по монастырю. Томительный час духовности — и все гурьбой, во главе с лауреатом, бредут к воде, сгоняя с привычного места стадо коров.

Из утлой деревеньки, некогда богатого села, одно время даже города, тянется поглазеть народ. Под угловой башней — компания: в ранний час уже две пустые бутылки. Глаза круглые: “Скажите, а в косынке, значит, сама вот эта? — Сама, сама. — Ух ты, простая какая”. Захлебываясь, рассказывают, что приехали в выходной просто посидеть (“тут, знаете, душевно”), а вдруг такое: “Мы не местные, вот повезло. Мы вон оттуда”. Карта изучена, можно щегольнуть: “Из Лыскова, что ли?” Пунцовеют от смущения: “Ну что вы, Лысково — большой город, мы с Красненькой”.

Охрана помогает размещаться. Сама садится вчетвером на отшибе, розой ветров глядя на все стороны. У одной лишь охраны гладкое лицо, твердая походка, внимательный глаз.

Она единственная в белой рубашке и галстукe среди маек, шортов, джинсов. Она вежлива и настойчива: “Зачем вам с иностранцами? Вы, пожалуйста, сюда” — и усаживает за стол клира. Во главе игуменья, молодой отец Кирилл, церковные чины помельче, из киношных — питерский сценарист, с храпом засыпающий после тоста.

У отца Кирилла ухоженная борода, изящный наперсный крест. Под локтем — синяя клеенчатая папка, которую по приказу игуменья он то и дело подсовывает на соседний стол губернатору. Тот, веселый и расслабленный, усмехается, но подписывает монастырские потребности. Отец Кирилл пьет в четыре приема: подняв расписной деревянный стакан, озирается, хотя начальница вдохновенно багровеет рядом, прикрывает папкой крест, опрокидывает и, выдыхая, прижимает клеенку к губам.

У воды цыганский хор чередуется с казацким. Лауреат с одними поет про шмеля, с другими — истошную волнующую песню. Казаки перетаптываются, шашки путаются в ногах, из-под фуражек висят потные чубы. Они дико вопят, вроде вразнобой, но мелодия строится, равняется, набирает скорость и мощь, разворачивается лавой. Слов не разобрать, только рефрен, мотающий душу: “Не для меня! Не для меня-я-я-я!!!”

Застольное производство в работе: цвета побежалости игуменья, рокот сценариста, четырехтактный двигатель отца Кирилла. Он достает из-под рясы баночку соленых грибов, важно говорит: “Лучшее послушание — грибы собирать” и снова прячет. Он здешний уроженец и рассказывает о святости мест. К северу — озеро Светлояр, куда опустилсЯ Китеж. “Китеж знаю! — просыпается сценарист. — Знаю! Китеж и эта, Хавронья”. Хохочет, а отец Кирилл мелко крестится и говорит с укоризной: “Феврония, дева Феврония, зачем же вы так, ведь заслуженный деятель искусств, мне говорили”. Нервно выпив под клеенку, продолжает о том, что километрах в пятидесяти отсюда к югу — родина протопopa Аввакума, в селе Григорове за речкой Сундовик. А километрах в двадцати оттуда, бли-

же к речке Пьяне, в Вельдеманове родился патриарх Никон. Голос отца Кирилла возвышается: “Так управил Господь, что два неистовых противоборца по соседству на свет появились”. Один из мелких чинов солидно добавляет: “Вельдеманово — это Перевозский район, а Григорово совсем нет — Большемурашкинский”. Сценарист снова просыпается и снова хохочет: “Вот какие большие мурашки бывали у нас в губернии!” Верно, нынешние куда мельче, да и кто в русской истории крупнее равных яростей Аввакума и Никона? Сценаристу больше не подносят, он уходит, бубня о ярмарке тщеславия и поминая классика: “Пушкин все про вас сказал”.

Сценарист постоянно пьян, но образован. Пушкин в “Путешествии Онегина” задевает Макарьевскую ярмарку: “Всяк суетится, лжет за двух, и всюду меркантильный дух”. В то время ярмарка уже переместилась в Нижний — после пожара 1816 года, уничтожившего ряды и павильоны здесь, у Макарьева, при впадении Керженца в Волгу, — но название оставили прежним. Макарьев перенес это, как пережил взятие монастыря разинским атаманом Осиповым, наводнения, удары молний, попытку упразднения и сноса — за полвека до большевиков, а при них — детский дом, госпиталь, зооветеринарный техникум.

Сейчас тут женская обитель, и монахиням дано послушание вести экскурсию для фестивальных гостей. Одна юная, вроде хорошенькая, киношники пытаются заглянуть в лицо, но голова опущена и платок надвинут. Внезапно, указывая на кресты, она делает слишком резкое движение, выбиваются светло-русые волосы, видны глаза неправдоподобной величины, глубины, тайны, куда Светлояру. Оператор в подтяжках тихо говорит: “Ты видел? Ты когда-нибудь видел такое? Пойдем отсюда, там уже наливают”.

Наливают обильно, и почти никто не замечает, как под барабаны выходит из реки морской бог Нептун. Он точь-в-точь отец Кирилл, только борода не каштановая, а зеленая. Нептун набрался уже где-то на дне, его держат под руки две

шалавы в прозрачном — русалки. Казаки подхватывают трезубец и изображают рубку лозы, цыгане трясут серьгами и бубнами, Макарьев нависает и звонит над шабашем.

Московская киноведка, сомлев от ухи и благости, хочет креститься — здесь и сейчас. Клир воодушевлен, но она вдруг отказывается. Охваченная теперь языческой идеей, бежит в стадо надевать коровам хохломские стаканы на рога. Отец Кирилл вызывает: “Тань, ну покрестись, ну что тебе стоит!” Игуменья, достигшая пламенной багряности, молчит. Гудит “Суворов”. Лауреат выходит на кромку берега — последний тост и последняя песня.

Несообразная ни с чем вокруг, взмывает бешеная аввакумовско-никоновская страсть — давно забытая здесь, лишняя, чужеродная. Душераздирающий вопль ударяет в монастырские стены, летит над куполами и котлами, над стерлядями и блядьми, над испуганным стадом, над пьяным людом, над долгой Волгой, над золотой хохломой: “Не для меня! Не для меня-я-я-я!!!”